

Короли ацетона





Станислав  
СНЬІТКО  
Короли аце-  
тона

Коровакниги

ISBN 978-5-902945-17-8

Совместный проект издательства «Коровакниги»  
и книготорга «Медленные книги»

Снытко С. Короли ацетона. — М.: Коровакниги,  
2014. — 40 с.

© Станислав Снытко, 2014

© Коровакниги, 2014

## Оглавление

Американские письма..... 6

Дубликаты..... 30

## Американские письма

## Глава I

### Плотность уничтожения

I. Ты видишь стремительный фильм, который так быстро захватывает тебя, что успеваешь вспомнить напоследок только один эпизод из прошлого, вернее, не эпизод, а зрительный, то есть, слуховой ландшафт, растворяющийся, просыпающийся, как голый песок с камня: как тихо на Сайме ночью поют невидные, неизвестные животные, результаты незнакомого воображения беспокойно засыпающего человека, который, конечно, уже не ты. Тогда крики совы или лай лисицы, или плеск воды, взбиваемой в схватке рыб, надвигаются вплотную, и видишь: лицо звука в окаченевших, схваченных полутора-столетним инеем, зеркальных осколках ветра. Их укрывает песок, льющийся, как вода, и тогда все окончательно меняется, становясь на свои места, оборачиваясь настоящей противоположностью. Но медленно проходя вдоль зимних заборов, оборачиваясь поминутно вокруг своей оси потребное для магического обескровливающего ритуала количество раз, всматриваясь в уродливым узорчатым инеем изъеденные линзы глаз, приходит и приносит свое неназываемое имя тот, кого больше всего ждал ты, и отдает то, что немедленно тебя уничтожит. Так, обращаясь в непрерывную сновидческую цепь, настигает призванное бездвижным неистовством будущее, не оставив от себя и следа, словно ничего не было, как несколько тысяч лет назад, падает в песок глиняный оско-

лок, но лишь для того, чтобы ты нашел его, тихой кисточкой расчистив упавшее зеркало, зорко всмотревшись в рисунок на глине, различил свой точный, точеный, прекрасный профиль, в который нельзя не влюбиться снова и опять — тебе самому, иначе вернешься в песок, прекратишься, станешь бесповоротно, ядовито вечен.

II. Камень — оружие земли, простирающейся под желтым туманом от горизонта до горизонта; серая корка, обрывающая слой твердого, несокрушимого с виду наста, истерлась бы в пыль от любого прикосновения, кроме прикосновений тумана. — Некому сделать шаг, совершить разрушительное прикосновение. Тогда корке остается расти, насту — утолщаться, простираясь в любую сторону до бесконечности. Вплоть до отсутствия предела. Обрываясь лишь с одного края, в месте, где слышен шорох отъединяющихся, исчезающих в темноте провала песчинок, комьев — сгустков серой породы. Внизу они исчезают, поглощаемые темнотой, неслышно несущимися потоками воды или предполагаемой волей быть поглощенными. Волей срываться вниз, будто уменьшая на ничтожную долю поверхность наста, край которого уступает провалу не равномерно, но неровно, зубчато, как будто вещество поверхности состоит из фракций, подверженных разрушению в неравной мере. Перемещения тумана, создающие подобие — приблизительную модель — ветра, не ускоряют разрушение поверхности у обрыва, скорее, фиксируют непрерывное, ничем не управ-



ляемое сокращение, уничтожение частиц серой породы в глубине (высоте?) провала. — Над ветром (и тьмой, предполагаемой тьмой небес) есть тонкая прослойка огня («тонкая» с учетом ветра и тьмы, но — обезоруживающая любое представление о «тонкости»), милая себе, кружащаяся в непримечательном танце, поглощает любое все. Над ней, пресекая волю к описанию, простираются последующие слои. — Представление о черном как бесцветном становится неверным, когда абсолютное отсутствие распределяется по градициям густоты, плотности уничтожения.

## Вспомнить Трансильванию

I. Теперь он только спал — возможности памяти, не безграничные, все чаще подводили, внушая бессилие отчаяния, все прочее же было целиком безразлично. Иногда, просыпаясь или засыпая, она видела смутный тягучий фильм, сменяющие друг друга картинки, обрамленные индивидуальной болью — словно семейный фотоальбом, но такой, в котором ни одного знакомого лица, и даже — ни одного лица вообще. Только конфигурации густоты. Только извивающиеся, как иногда рыбы, снопы белого выламывающегося из-под земли вещества, поглощающего звук и свет; нужно — для начала, в приступе воображения — совершить следующий шаг. Тогда он увидел себя живым, бредущим в пылающем лесу, по устеленной свежим снегом тропинке, с бритвой и магнитофоном, с циркулем в кармане, котом в чемодане, и так, добредя,

входящим в покинутый, ледяным звуком осиянный деревянный дом, где электричество не ночевало, окна заколочены, мышеловки под иконами, замок навешен, уже сорванный, и где, войдя, видит: дождавшись, все собравшиеся протягивают на теплых простертых ладонях алые леденцы, и он берет их, кладет в рот, утрачивая любые чувства от схватившей за горло сладости, и замечает, что вид за окнами домика тронулся и замелькал, словно поезд набирает скорость. А утром, когда они все-таки отчего-то просыпаются вместе, она понимает, что видит его в последний раз, и это ей — верная смерть. Он же — что видит ее не впервые, но все же никак не вспомнит, кто она, любит ли ее, отчего она в его постели? И как только беспробудный сон сменяет светлую бессонницу, как только последняя памятная речная монетка исчезает под свинцовыми листами океанической воды, и, распустившись в небе фиолетового узлами дыма, звучит и восходит в пепел обращенная луна — только тогда, в шубе из выдр, кокошнике из анаконд, с чемоданом, саблей и салом приходит тот, кто говорит. Приходит и говорит.

II. Доктор Мабуз е. Тысяча глаз изъедены искусственным дымом, больше ничего не вижу, возьму этот камень и разломаю руку, чтобы никогда не позвонить тебе, что дальше?

Доктор Калигари. Отмыться от крови. Вспомнить Трансильванию. Отчего у Карло Кривелли огурец размером с Иисуса Христа и растет на одной ветке с яблоком?

Вероника Фосс. Змеи покидают мои глаза. Черви покидают мои уши. Зачем ты покидаешь мое сердце?

Петра фон Кант. Я вижу тебя сейчас. Спокойно, уверенно, тихо идешь по аллее навстречу волчьим собакам, листьям ветра, голым птицам, густому воздуху бензоколонки, приятному «*Morning!*» незнакомого пи-эйч-ди, влекомого легкой нехваткой денег, непреходящим чувством голода, трезвости, свежести, тревоги. Но где ты сейчас? Какие обстоятельства могут вмешаться в отлаженный быт многообещающего молодого преподавателя? Иногда, перебирая прежние вещи, нахожу упаковку презервативов, которую ты оставил, зачем она мне теперь — Тогда плачу и не замечаю, когда слезы перестают течь. И не замечаю, когда вновь начинают. И тогда подхожу к окну, смотрю туда, чтобы забыться, чтобы забыть себя, пока не стемнеет, пока в глазах не потемнеет от слез. А потом стою у пустого окна, как по ту сторону погасшего экрана, и вспоминаю все, чего нет: звенящие звезды, игрушечные крейсера, мертвые лодки, счастливые люди, твои бесконечно прекрасные руки, мягкие как пух, белые как слезы, теплые как бумага

Носферату. Что дальше?

Агирре. Отмыться до крови.

## Бритва и магнитофон

I. Прекратить мысль о тебе — записал, замерев под секвойями, слегка подсакивая при очередном шаге, укутываясь, рассыпаясь серебряной пылью снега над ртутным

листом San Francisco Bay, словно изготовившись для невозможного, уже совершенного прыжка в темноту. Где закончилось, положив предел любому вопрошанию, беспрежданное ожидание. Где механические листопады сменились неисчерпаемым летом, в которое только погружаешь кончики пальцев, и, обессиленный тем наркозом, откуда уже не вынырнешь оценить преимущества необратимых хирургических преобразований, взрываешься внутренней болью: если тысячи ушепти, упраздняя отличие земли от неба, произнесут неизбежное имя, и мембраны треугольных испепеливших глаза солнц, этой черной пылью усеяв от горизонта до горизонта синеву небес, сотрут и уничтожат твой образ. Тогда, двинувшись вспять, все начнется сначала: глотая невидимый железный ключ, вернется вечерний апрель, остановится над островами несомый песок, будто застигнутый фотовспышкой, и разорвется, треснув на склейке, пленка, прервав пленительное кино, и будет май, и докучное сердце остановится на несколько секунд.

II. В-третьих, насилием литер, выпадающих тлению сновидческой волны: как угодно — и никак иначе. Покуда подступает разбитое принципу равного стяжением света (иначе ли тьму одинокие встречают звери!), т.к. ловить меланхолический отзвук вопроса? «До которого часа пущенный взлет анатомии снежных семян, зверю же — ушедшая в упругий винт, в штопор ли безоглядный?» — был ответ. *Свинцовым*, — говорит литература, — небо

стало. *Свинцовым* стало оно, как только тебя не стало. *Свинцовым* было оно всегда, но не видел. Что легче сто- крат бродить по нему в волчий час, чем сказать, отчего отсутствие твое столь нестерпимо, как если бы зубы были мягче пуха, а пища тверже железа, ergo? — Видит край, отказ глазам, скат почерневшей небу, расположен- ный камню обрывов; утопая в глубине провала, в три па- дения оступаясь: «*Говорил тебе?* — были слова. — *Услышав- ший глух*». Покуда ноге соскользнуть, мертв яд вернувшегося вопля: «*Плохи дела твои, Небо?*». И отвечал, рождаясь, воплю живущий: «Свинцовым стало оно, лишь только тебя не стало. Свинцовым было оно всегда, но — не видел. Свинцовыми стали слова, но — не ближе к небу. Незаметное, невозможное, градации последовательно- стей. Повторение — утрата? Фотография — гастроль смерти?» — Парни были в матросках, т.к., по-видимому, и т.д.

## Глава II

### Манговое мороженое

I. С течением времени монастырское кладбище объеди- нилось с кладбищем психоневрологического интерната имени Плеханова. Теперь на месте обоих кладбищ — пу- стая черная земля, взрыхленная кое-где следами автомо- билей, тракторов, лошадей, встречаются также некруп- ные лужи, вкрапления гравия, неглубокие, но отчетливые следы, ведущие прочь, сначала раздваиваясь,

затем снова раздваиваясь, крупное четвероногое животное либо компания из двух людей оставила их. Следы движутся на запад, пересекая бывшее кладбище по диагонали, их производят двое мужчин в длинных серо-зеленых плащах, они идут очень быстро, стараясь оставаться неприметными, выполняя это условие настолько искусно, что, наблюдая из окна жилого четырехэтажного дома, с железнодорожной насыпи или даже с дерева, не сразу получится заметить их, а если заметишь, то не поймешь, что они движутся спешно, но, в лучшем случае, спокойно прогуливаются, если не вовсе стоят на месте, переминая ногами в блестящих ботинках мокрую грязь бывшего кладбища. На самом деле оба стремительно движутся, все быстрее и быстрее, и, уже почти перейдя на бег, погружаются в небольшую рощу, окаймляющую кладбище, то есть, пустырь. Углубившись в рощу, мужчины останавливаются, один, пониже ростом и покрепче, наносит своему спутнику пощечину, затем бьет кулаком в грудь, хватая за волосы и что есть сил рвет в разные стороны, выдергивая клочки волос. Второй не оказывает никакого сопротивления, падает на грязные мокрые листья и, скрючившись в эмбриональной позе, беззвучно вздрагивает от боли, пока товарищ бьет ногой в живот, в грудь и между ног. Избиение длится несколько минут. Помочившись избитому на лицо, закуривает. Избитый, поднявшись с земли, тоже берет сигарету, и вдвоем они выкуривают всю пачку. Ни словом не обмолвившись, они покидают рощу все тем же быстрым

шагом, переходящим в бег, что со стороны покажется любому неторопливой приятельской прогулкой, топтанием на месте двух почти неотличимых людей.

II. В последний рабочий день месяца она выходит в пустую офисную кухню, где остается наконец одна, чтобы выкрасть два небольших желтых брикетика — манговое мороженое: так сильно она ненавидит своих коллег-американцев. Даже больше, чем бывших соотечественников. А, впрочем, всех одинаково. Вдруг кто-то входит, и она молниеносным броском укрывает брикеты салфеткой. Нет, никто не вошел, просто показалось; и тогда она думает о том, что Майкл, владелец брикетов, — симпатичный парень. У него дома — прикованный к инвалидному креслу бойфренд, которого Майкл возит на кулинарные курсы, чтобы сделать приятное на день рождения. Но что же делать, что же мне делать, если так их всех ненавижу, что выкрала и съела эти желтые брикеты мангового мороженого, совсем как в девять лет, когда залезла в холодильник в больнице и ухитрилась незаметно похитить банку абрикосового варенья и опустошила ее в одиночку, а потом опасалась, что вычислят и расскажут все матери, и казалось, что каждое слово людей в белых халатах изобличает меня. Прошло двадцать лет. Теперь уже не поймут! Я говорил тебе про своего дядю, материнного брата, которого знал слишком мало, потому что он держался всегда один, потому что, я чувствовал, как сильно он любит меня — по-своему, незаконно. Мы проснулись тогда

с матерью августовским утром. И вышли во двор. Солнце сияло, и одного неба было для солнца мало, и знали, что в поле так зелено и ветрено, что сама луна стоит в небе рядом с солнцем и не может оторвать взгляда от леса и луга, от вечных сосен и старинных дач, от рыб в пруду и асфальтового ручья, и узкой просеки, и колодцев с серебряной водой. Но все это почернело и рухнуло в тот миг, когда увидели дядю, материного брата, так сильно любившего меня, бегущим по дороге прочь, в бессознательном уже припадке, разбрызгивая кровь из рассеченного горла, орошая траву и дорогу, и трясущийся деревянный мостик, с которого свалился в канаву, чтобы там утихнуть — утешить, успокоить, остановить наконец свое страшное сердце. От ужаса мы едва могли понять, что происходит, а он уже был мертв. А когда поняли, что он пил всю ночь и что утром, лишь солнце взошло, раскромсал себе горло ржавой ножовкой, было до такой степени поздно, что осень не наступила уже никогда, а только сразу — вечная жгучая зима. Я рассказываю тебе об этом, потом долго молчу, потому что пришло последнее утро перед твоим окончательным исчезновением. Ты садишься ко мне на колени, словно бы для того, чтоб утешить, и говоришь, что теперь, когда уедешь, мне останется только одно: положить голову в духовку и пустить газ. Совсем как Сильвия Плат, понимаешь, совсем как эта смешная, уморительная Сильвия Плат, о боже, что может быть забавнее!.. С этим теплым легким чувством ты засыпаешь в последнюю перед дальней дорогой ночь.



И тогда я подумала: спасибо, сердце, я ненавижу тебя, останови поскорее этот чертов пленительный фильм.

## Короли ацетона

I. Терпеливые короли ацетона, распространение ночных звуков, их жутковатая сумма, проносщая свои неподвижные сцены вдоль берега зимнего моря, над безустыми листьями кленов, непредставимых ни среди этих ущелий, ни между подводными пальцами льда, флюгеров, нитей песка, островных сумерек, безостановочно открывающих теплую летнюю книгу, в которой не встретятся электронная магма, арифметический луч и обескровленный танец теперь уже зимних недвижимых корней, не выходящих на свет, разрывая безбедный слой почв, встречая нью-йоркский асфальт, гудронный расцвет, шелест медицинских столовых, кладбищенских теплых узилищ молниеносную неподвижность, фортификации тающих юных тел, не узнающих света свободы, не увидевших встречу наших растерянных взглядов в петербургском апреле под неприметными зимними звездами Сан-Франциско.

II. Парк обрывается у железнодорожной насыпи. Там, взобравшись на ольху, свернулся неприметным для пассажиров проносщихся поездов клубком один человек. Если смотреть снизу, он выглядит серо-коричневым комком — окружностью, слегка прикрытой листвой, то раздвигающейся порывом ветра, делающим комок более

приметным снизу, то сдвигающейся, лучше скрывая прятчущегося. Все мы помним его лучшие годы, когда ольха стояла необремененной, под ней находился детский инвентарь, мамы приводили туда своих детей. Так было лишь до некоторых пор. «Смотрите, кто-то спрятался на дереве, между листьев! Пойдемте-ка нахуй отсюда!» Теперь под ольху приводят только собак, рядом площадка для дрессуры, неподалеку — танцпол для пожилых по выходным.

## Зимнее море

I. Но теперь не бывает так, чтобы в этих узилищах, плача, смеясь и танцуя, открывали волшебные книги, в них читали про море и свет, про опадающих листьев влагу и умеренных свежесть слов, столь уместных в минуту прощальных заминок, в несостоявшейся встречи фантастическую секунду, пока молнией шаровой разгорается мозг головы, и тогда, орошая кровавых лучей дождем невозвратных грамматику дней, возвращается музыка взгляда, и утоленного вожделения тень, укрывая безвредные вещи, падает не на них, а на сумму последствий: для бесконечного, теперь уже зимнего моря — исчезновение волн; для разоренного города — обращение в пустошь; для источенных лучей — возвращение к источнику, но — не света, а — 1) времени, 2) музыки и 3) воды, и тогда, наконец, в этом тихом растерянном парке, в заповеднике черных лучей, на работе и дома, увидишь меня, увижу тебя; но во имя исполнения всех условий,

для воссоединения обстоятельств, больше не будешь тобой.

II. По ночам питомцев отпускают погулять в саду. Гулять разрешается только на четвереньках. Необходимо знать, кого называют «питомцами». Некоторые люди среднего возраста и старше не могут обходиться без посторонней помощи. Подобные люди содержатся в данном психоневрологическом интернате. Покидать территорию данного интерната запрещено. Для того, чтобы сделать это, беспомощным питомцам, отягощенным неизлечимыми заболеваниями, поражающими нервную систему и, нередко, опорно-двигательный аппарат, пришлось бы преодолеть кирпичный забор высотой примерно три метра, утыканный сверху кусками битого стекла, посаженными на застывший бетон. Ночью, под дождем, либо в безоблачной лунной прохладе питомцы выбираются во двор и, опустившись на четвереньки, неспешно передвигаются по земле, делая долгие передышки у выкрашенных белой краской яблоневых стволов, изредка находя в траве под ними полусгнившие плоды и жадно их поедая.

### Глава III

#### Meshes of the afternoon

I. Звезды, обрывы, числа, глаза, чтение, зубы, язвы, зазоры. Призраки покушения. Фиолетовый пудель. Серый свет линий, разделяющих пространство на абсолютные

секторы, в каждом из которых, как в провале, вырывается в лабораторной колбе плоящаяся густота. Именно она становится источником разделительного света. *«Марсель Дюшан сидит на стуле. Тонкая белая веревка, стягивающая его шею, устремляется вверх. Туда, где ее держит невидимая рука времени. Летом, лишь только расцветает лед, не услышать успокоительных фраз. Вы: зеленый лес, бесконечный пейзаж, звонкий черный ручей, я теряю вас навсегда.»* Помню, как ворочался всю ночь — зная, что она последняя. Но не зная, как покрепче прижаться к тебе, хорошо спящему, и стоит ли прижиматься. Или — просто уснуть, готовясь и уже приступая к забвению. *«Маленький домик в саду. Раскачивающиеся над крышей секвойи. Под ними выстроена шеренга людей, которых сейчас расстреляют. Один из них хочет создать повесть о предварительных событиях. Об узорах инея на изнанке линз. О запечатленном распаде зеркальной руины. О стальных коврах крови. О том, как страшно подумать, что люблю тебя. И гораздо страшнее — не думать.»* Помнишь ли, о чем говорили перед окончательным прощанием? Речь шла о художнике, который увидел большой черный предмет, совсем легкий. Этот предмет являлся желудком неизвестного человека, наглотавшегося моментально схватывающейся строительной пены — и так погибшего. Ты был в длинном пальто. Держались морозы. Решено обойтись рукопожатием. *«Возвращаясь домой, Элеонора роняет ключ, чтобы затем вынуть его изо рта, когда, опустившись в кресло, уснет, войдя в дом, и увидит сон об извлеченном*

*изо рта ключе, превращающемся в нож, которым она зарежет себя, не успев уснуть, не попав в дом, не подняв упавшего ключа.»*

II. Несколько излишне преданных собак тоже заметили, как перевернулась, дважды искупавшись в своей синеве, новая луна. Из-под ее взгляда, как из застарелого нарыва, вырвался государственный ветер, одаривший незаметностью и растерянной беспричинностью знак равенства, сжатый между полным забвением и китайской казнью. Усвоенное вместе с ветром и составом воздуха, окончательно проникшее в кровь, расставив там свои силки и плотины, чувство потерянности. Сотни огней, дрожащих вдоль ночного Big Sur никчемной насмешкой, инверсией звезд, без которых так свободно и тихо в этом небе. Молчаливая готовность равных звездам птиц, замолкших, придать любому факту статус невозможного исчезновения, оправдывая душераздирающую абсурдность пейзажа, лишённого малейшей возможности для маневра. Отпустить клавишу боли? Не слишком ли велик риск, что все, включая сохраняемый кем-то из неведомых соображений нелепый ландшафт, обрушится, словно готический витраж? Слово утраченной структура личной души. Слово плоть времени, из которого не обратиться в бегство, а только в прах. Туда, где тьма не знает изгиба ни улицы, ни любой иной перспективы, куда облако не приносит свои слои. (Куда воспаряют, падая в свои тушки, проснувшиеся птицы. Недоступное,

невозможное животное существование, лишенное самосознания. Разве только кошмарный сон, всего один: проснуться не птицей, а камнем или бесформенной лужей, но затем, все равно, взлетая.) Есть норма потребления боли — суточная, годовая, жизненная: ты не знаешь о ней, но хотел, чтобы такое обязательно было. Есть особый тип зрения у некоторых животных, позволяющий видеть в темноте. Есть Bodega Bay, Mrs. Bates, танцующий скальпель кита, рассекающего волну и взгляд на волну. Что насчет нескольких излишне преданных собак побережья? Ты сам видел, как они были пойманы посредством специальных петельных орудий. Далее всем им туго стянули шеи, соединив связку одним прочным тросом. Так, все вместе, соединенные в одну связку, они и были повешены. Несколько излишне преданных собак побережья.

## You can't beat L. A.!

I. Слышишь сад? Тихо поет солнце над ним, звенит невидимый колокольчик. Река оставляет свое течение просто быть, сама же обращаясь в прах и бегство. Беспечно раскинув руки и ноги, неказенный засыпает под эвкалиптом под шумный трепет далекого водопада. Не видит ничего из-за близорукости, превратившей сад, реку, город, озеро, магазины и собак, автомобили и небеса в одно нечеткое, смывающееся, дымящееся месиво. Будто мир тлеет, а не горит, как этот сад. И когда наконец уснул и окончательно ослеп, то просто решил, что все в конце

концов для полного порядка и спокойствия сторело. Несколько фотоснимков, *плоская Смерть*, составляли иконас на каминной полке, перед которым мог наконец, не опасаясь самого себя, опуститься на колени. Заставляя себя прожить отсроченную, но теперь уже неизбежную гибель. Если бы только можно было видеть богов, как легко они ступают по нашим дорогам, водят быстрые фургоны с прицепами, заходят в KFC, заказывают картошку и крылышки, поедают и исчезают, как легко он думал бы о личной, не плоской, смерти. Как легко я вытерпел бы присутствие любых людей, теперь презренных и невыносимых из-за саднящего чувства, что каждый из них — не ты. Что никогда не кончится их упругое, упрямое, уродливое шествие сквозь уши, глаза и сердце. *Много имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам* — предпослал эпитафию своему неудачному, заброшенному эссе о беспомощности, тревоге, разорванных розах под столиком корейского кафе, откуда отправился домой, чтобы остаться одному. И, что на самом деле бывает с каждым, зашторить окна, сидеть тихо, просовывать монетки в копилку-собачку, глядя в окно на медленно плывущую над туманом облачную грядку, пресекаемую редкими дымными столбами. На каждой фотографии, ты видел, это был улыбчивый и такой же любимый человек, которого из-за смены образа жизни уже нельзя было узнать. Он немного пополнил, но дело было в другом. Как будто изменившийся состав воздуха, часо-

вой пояс, погода и ветер, легко перемещавший семена и песок из одного штата в другой, такая работа, воздействовали на физиологию, и вместе с ней — на психику, физиономию, выражение глаз. И хотя почти ничего не знал о нынешнем его доме, всегда видел лаконичный беспорядок, пыльные апельсины, телевизионный пульт с утраченными кнопками, желто-серые салфетки, которыми сатана неустанно выстилает необъятные поверхности, целые пустыни обывательских комодов. Да, я слишком долго, слишком много писал тебе, говорил с тобой, а ты не слышал; и только теперь, когда окончательно потерял тебя, теперь уже точно никуда не исчезнешь. Если смерть не врет. Так, заблудившись среди расколотых останков внутренней речи, успокаивал себя, не замечая, что голос и мысль уже расслоились, разбегаясь по тонким ветвям распадающихся альвеол, растворяясь, исчезая, рассыпаясь пылью из высоких розовых бутонов, по ту сторону дымной, далекой, бог весть куда несущейся реки. И затем, то ли во сне, то ли заблудившись среди тяжелых ядовитых цветов, видишь свой любимый автопортрет, но с черной ленточкой в уголке, и берешь его в руки, подносишь к губам, дышишь на него, чтобы изображение растаяло, чтобы каждый цветовой регистр иссяк и замолк, и распался растр, раскрывая внутреннюю глубину изображения, бурлящего желтыми, гадко набухшими узлами. Они лопаются — и время отвратительно брызжет наружу, во все стороны, затопляя серую разрушающуюся почву.



II. Свободное некогда пространство занято ничем не примечательными капсулами, каждая из которых имеет оригинальный механизм преобразования тела. Внешне они кажутся совершенно безопасными, так как похожи на телефонные будки или торговые лари. Но стоит кому-нибудь попасть внутрь, как механизм автоматически приходит в движение. Вероятно, целый поток вращающихся острых спиц обрушится на лицо, грудь, живот. Или душераздирающая музыка замкнутости достигнет плотности, от которой воздух воспламенится, и вошедший сгорит, как сухая стружка. В твоём же случае капсула просто схлопнется с тихим звоном (будто в какой-то самой малой точке наступила зима), превратив своего узника в тонкий сухой лист мяса. Вместо лабиринтов бреда о посмертных похождениях души — каталог фотографий, чьи различия исчезающе малы. Либо проецируемый на этот тонкий сухой лист видеофильм, показывающий неподвижные зоны свободного некогда пространства, объединённого только динамикой цветовых сдвигов. Что наконец позволяет в мельчайших деталях разглядеть казавшееся неприступным, бесконечно далёким и замкнутым дно провала, над которым слышен шорох песчинок, комьев — густков серой породы, отъединяющихся от грани обрыва. Оказывается, там, внизу — только зрение. У него тоже есть предел, который едва ли наступит, потому что время устранено — как и все остальное, поглощено тягуче вращающимися на

дне провала сгустками — черными узлами, медленно перекипающими друг в друга, беззвучно выстреливая вверх невысокими солеными пучками тугой эмульсии.

## Девятый день

I. Нельзя опаздывать на поезд, ни в коем случае, никогда — он запомнит это надолго. Навечно. Думал, успеет добежать до своего вагона за две минуты. Дверь захлопнулась перед носом, поезд медленно тронулся, быстро исчез. Ночью на вокзале собрались, он даже не знал, как их назвать. Лучшие люди города? Попытался затеряться среди них, но не вышло, слишком выделялся. Когда всех выгоняли на улицу, он притворился спящим. Его разбудили, убрали скамейку, проверили документы, началась повсеместная уборка. Человек в пылесосе, напоминающем *golf car* (неверно: скорее, *parautomobile*), неторопливо раскатывает по залу. Решил спросить, можно ли остаться здесь, я просто опоздал на поезд, мне некуда пойти, сразу получил отрицательный ответ, попытался покинуть вокзал, но обнаружил, что все двери заперты. Не осталось ни одного бездомного, командировочного, путешественника, паломника, торговца, никого, только он — и люди в теплой черной одежде, с рациями и дубинками, пресекающие как любую попытку остаться на вокзале, так и всякое поползновение покинуть данное место. Он подумал, что, наверное, сможет укрыться в туалете, дожидаться там благополучного утра; спустился в подвальный этаж, большая стеклянная дверь была заперта,

дежурная туалетчица спала за стойкой у турникета с табличкой «35 рублей». Он постучал кулаком в дверь, женщина проснулась, показала fuck и снова погрузилась в сон, перестав отвечать на его позывные. Он вспомнил, что осталось последнее: камера хранения, уж она-то должна работать круглосуточно. Он не ошибся. Ночь была длинной. Войска собирались на штурм.

II. Вновь повторяется сцена в лесу, лесная сцена. Идем по свежему сверкающему снегу, и вокруг будто ландыши или подснежники расцвели, и жирные плоды тянутся в руки, свисая на тонких ниточках с веток сосен, и на дне ручья, на светлой пустой веранде, на станции, в земле, в центре озера, в середине неба вращаются и тают, слипаясь в обратном танце, дымные кости слов. В ничтожно-умилительные ночи, до отказа набив кожаную заплечную сумку мясом волчьим, идет по лесу, ноги стирая в дым, пока не выходит на серую пустошь, словно скопированную из американского фильма про высадку на поверхность Луны, и там, где нет ничего, слышит: гудок паровоза, и оловянные трубы, литавры, барабанный гонг и шорох грампластинок. Но не прибывает поезд, а только звучит. И тогда, лунную дорогу разбивая в фарфоровую оседающую на неподвижно разомкнутых губах пыль, совершает посадку авиалайнер, будто толстокожая рыба падает в раскаленный песок. И когда откидывается, ужом извиваясь, трап, и сходят по нему счастливые, рыдая, долетевшие, и смолкает оркестр, и стеклянная дохнет рыба,

и вижу среди всех пассажиров последним по трапу спускающегося—тебя. И тогда, не веря глазам своим, бьет себя по морде дохлой рыбой, трижды плюет на запад и пронзает себе голову иглой в трех местах, чтобы убедиться, что видит не сон. И заново открыв глаза, вижу тебя, и твое возвращение тебя, который и есть—ты. Черноволосо-застенчивый и снежный, с угловатых губ побелычи слетающими словами подзываешь к себе, и тогда, во-первых, умирают танцующие в дымном небе ненужные отныне слова. И, во-вторых, тают кости в телах, оставленных душами. И растворяется, в-третьих, фарфоровый песок на твердеющих губах улыбок.— Но лишь раскрываются настоящие глаза, то видят только пленку окраин, их пустые окна, за которыми нет ни света, ни тьмы. И открыв глаза, снова открываю—и знаю, что тебя все так же нет и уже не будет никогда, как не будет слез или спичек у рыб, и все это—подлая галлюцинация, и жизнь моя—отплясала.



Дубликаты

## Глава I

Все располагается по краям воронки. Ты ступаешь по краю, зная, что он — бритвенное лезвие, но не чувствуя боли (достиг полного расстройствa всех чувств), не видя своей крови (боль ревности, теперь позабытая, изорвала глаза и без того расслоенные). От предшественников тебе достался рудимент — внутреннее зрение. Благодаря которому видишь цепочку людей, движущихся впереди в непроницаемом для света тумане. Ты знаешь: они — не ты. Но и ты — тоже не ты, так как состояние тела уже не имеет отношения к возможности удержания души внутри. Структура любого пространства хранит в себе такую воронку. Где бы ты ни был — это воронка. Следовательно, тебя там нет.

Луис Альфредо Гаравито Кубильос, прославившийся под именем La Bestia, Зверь, признан виновным в изнасиловании и убийстве ста тридцати восьми мальчиков. Сто тридцать восемь мальчиков убил, изнасиловав, La Bestia. О чем говорили газеты в 1999 году. Места захоронения жертв Бестия отразил на картах, согласно которым число убитых достигало четырехсот. Однако, дело в ином. Дети гуляли, пока La Bestia поджидал. Были дни: сколь угодно солнечные, либо ветреные. Ветер гнет траву. Кактус стучит о кактус. А их всех (ты отчетливо видишь их сейчас благодаря кардинальному расстройству зрительной способности) уже поджидает маньяк. Поскольку теперь ты не знаешь, чем именно заполнено «я»,

не можешь обещать себе, что один из детей не является тобой. Или шум ветра, скрывший перемещения маньяка — не шум твоего сердца? Не можешь занять ни одну из сторон. Не можешь и покинуть. Ты, столь отчаянно прятавший себя от себя, теперь понял, что больше нечего скрывать, и та коробка, которая была внутри всех коробок, оказалась пуста, как и самая первая, в которой были все остальные. И тогда, благодаря памятной способности внутреннего зрения, доставшейся тебе от предшественников, ты видишь наконец себя. Укрывавшийся до заветного часа от всех подозрительных глаз в потайной кактусовой роще, ты вышел на свет. Сжав в руке крепкий нож, приближаешься к жертве и видишь: жертва — *ты*. Но видишь это — со стороны. Не можешь вмешаться в происходящее. Да и не хочешь.

В нелепом пароксизме, в расстройстве желаний и чувств всматривается в вещи, пока поглощаемое сияние не ответит гнойным звуком, и тогда отзовется, пробуждаясь, одно внутреннее чувство. Чувство времени, сжатого в крепком кулаке, как монетка с остро заточенным краем. Разбросаны книги. Нельзя сказать *ни слова* о том, что слишком рано взошло солнце, и не заметил, как прошел день, два, три, а сна все не было, только предметы и листья, мертвые животные, пустые улицы мая говорят об этом времени: осенью под темными сводами арок, под пролетами мостов, над каналами, в окнах, среди рушащихся стекол поминутно молчат часы, выжи-



дая, что взойдет солнце, и птицы, озаряемые на ветках, уничтожат тишину. Малейшее движение под жарким небом, на пыльной стороне домов, в оставленном школьном зале, в медицинской стеклянной комнате. Прочь из опустевших дачных мест, с площадей или улиц, покинуть набережные, парковые аллеи, лесные тропы, гулкие коридоры, торжественные залы, углы комнат, тошнотворные пляжи, судорожные стадионы, кафе с добрым этническим уклоном, зловонные аптеки, бесцветные церкви, туманные острова, версальские террасы, калифорнийские хайвэй, отчаянные громады свалок, стеклянные дороги, опрокинутые озера, пыль гор. Он — ты: тело овеяно плетью, ум — тоской, глаза изорваны смертельной обидой. Замерший часовой механизм — наступление окончательного времени.

Но были и другие дни, которые я обещаю запомнить, как запомнил взаимоотношения песка и снега весной: памятные и пьяные, сияющие и никакие, финские и петербургские, соленые или ветреные, дни — бухгалтерские бумажки, бифокальные очки в седоатой садовой траве, обескровленный ветер, разгоняющий пламя библиотек, обративших свой пепел в цветы деревьев. Дни, когда признался, что ненавидит восемнадцатый век; его подслеповатый (очки в траве) взгляд, оставив на рукаве светлую полоску звенящей пудры, равнодушно коснулся моей руки, и я вспомнил, что свет смертен. Вспомнил 25 мая '08, вспомнил, как пусто, неверно,

тепло и темно бывает в чужой квартире, где есть только шаровидная кошка и пыльная кровать, вспомнил другое новое животное — прогуливающегося в кухне огромного черного таракана. Которому закон не писан.

## Глава II

Ожидал ответа, смотрел в воздух над рекой, он темнел, вернее, он оставался прежним, но уменьшалось количество света, точнее, количество света оставалось прежним, но в глазах темнело, оттого, что ожидал ответа, а ответа не было. Чтобы все предметы, нанизанные на одну тонкую нитку, выстроились в линию настолько точную, что нельзя сказать — вертикальная она или горизонтальная, прямая или ломанная, и так далее. Нельзя сказать, было ли все это именно *со мной*; но, хотя данный вопрос является чуть ли не главным, ответ на него так же напоминает «да» или «нет», как озеро напоминает электричку. Местность? Вдоль заборов — бездомные твари, гаражи того же цвета, что заборы, цвета упрямо перемешиваются в тугую кашу, судя по взорам животных, я задолжал кому-то немало валюты. Здесь наступает день, если опускается темнота, и, например, дождь не имеет отношения к осени, все расположено в тени предметов, хотя хорошо известно, что нет никакой тени, потому что нет предметов, но в то же время все предметы пребывают в тени, и усомниться в этом разрешено только законченному кретину. Цвет тени — от серого до черного; цвет неба (не вообще, а в этих местах) — от серого до черного.

Но бывают и другие цвета. Жанр фильма определить сложно. Скорей всего, лента с т. наз. «плавающей» жанровой принадлежностью. Завязка фильма: X. встречается Z. X. — кольчатый червь длиной примерно 5 сантиметров, выползший в тень после сильного дождя. Z. — кольчатый червь примерно такой же длины, выползший в тень после сильного дождя. Половая принадлежность героев значения не имеет, т. к. черви — гермафродиты. Время действия («после дождя») условно, т. к. дождь не прекращается. Из-за не прекращающегося дождя следить за действиями главных героев фильма практически невозможно. Проще сличать по фото. Судя по фото, уровень воды в реке остается прежним.

В таких случаях говорят: *«Мы вам обязательно перезвоним!»*. После возвращаясь домой, смотришь одну или две серии телепрограммы «Криминальная Россия», ложишься спать с беспокойным сердцем. И тогда ясно видишь брезжащую завесу, отделившую твоё представление о личном счастье от прибывшей к земле действительности, от *«мы вам перезвоним»*. Видишь светлое офисное помещение, и где, если не там, лощеный работодатель, заглядывая в глаза, спросит такое, что теперь, охваченный ожиданием, не решишься дать ответ даже самому себе. Беспробудно бодрствующий, все, что ты видишь, схватывает тебя, как дождь реку, просыпающегося и засыпающего в обе стороны, чтобы все, что было — приснилось, а все, что приснилось — было. Все-таки нет, все-

таки — было, ложишься спать, закрываешь глаза, снова закрываешь, Иматра, погода улучшается, хотя дождь еще не начинался, его зовут Томас, он приезжает почти каждое утро на велосипеде, привозит кефир, кое-что съестное, его интересует только один вопрос: насколько продвинулась работа над романом? — Должен сказать, — ответил я, — что работа над романом идет полным, так сказать, ходом. Тут я описываю очередной сюжетный поворот, к примеру, такой: мой герой, оставив своего любовника в небольшом лесном доме, выбирается в огромный столичный город, чтобы взглянуть в названия сумеречных улиц, написанные на незнакомом языке, и так он бродит очень часто, пока однажды в кафе не сталкивается с девушкой, в которую, ну что бы ты думал, конечно же, еще бы, влюбляется, — ну хорошо, неплохо, замечательно, чудесно, многообещающе, в общем, вполне удовлетворительно, хотя, признаться, я ждал от тебя большего, — вполне удовлетворенный, Томас удаляется, *«мы вам обязательно перезвоним»*.

Далее: «укажите Ваше последнее место работы и причину увольнения, назовите Ваш самый главный недостаток, на какой уровень дохода Вы рассчитываете?» Сейчас или никогда должен вспомнить, что все это значит. Закрывать глаза, чтобы не видеть работодателя, претендентов на вакантное место, постараться сосредоточиться, собраться в кулак, чтобы ответить на вопросы, собеседование — это очень важно, работа — это главное

в жизни Закрываешь глаза — и нечаянно засыпаешь. На полках — вся сага о Г. Поттере, огишный Транстремер, «Школа для дураков», все читается с равным упоением, что свидетельствует не в пользу нобелиата, не говоря о сумеречном русском гении. Гвоздик, вбитый в стену над изголовьем кровати, чтобы на нем висела веревочка с алюминиевым нательным крестиком, «ты же понимаешь, что он *мешает*, когда», — объяснил V.

Синие тени вечернего леса. Жирный — как в «Хрусталеv, машину!» — воздух. Пальцы в перчатках стеклянной пыли. Снег идет и все никак не закончится. Если бы потеплело — это был бы дождь, но теперь только холодает, снег идет и идет, а ответа все нет. И когда наступит весна, когда снег сойдет — под ним ничего не будет. Только земля, пивная жесть, трубчатые волокна, кольчатые черви, непоправимый ночной день.

### Глава III

.....



Редактор *Алексей Дьячков*  
Дизайн *Иван Большаков*  
Корректоры *Юлия Алексеева, Сергей Лебедев*  
Верстка *Ильяс Лочинов*

Издательство *«Коровакниги»*, [facebook.com/cowbooks](https://facebook.com/cowbooks)  
Книготорг *«Медленные книги»*, [slowbooks.ru](https://slowbooks.ru)

Тираж *150 копий*

Печать ООО *«Типография Момент»*, +7 (495) 570-11-74, [1moment.ru](https://1moment.ru)

Москва • 2014